

Анатолий СМИРНОВ

ПРЕДОЩУЩЕНЬЯ



Стихотворения

Анатолий СМИРНОВ

ПРЕДОЩУЩЕНЬЯ

Стихотворения

**Ярославль
2012**

УДК 82-1
ББК 84 /2 Рос=Рус/ 6-44
С50

С 50 **Анатолий Смирнов**. Предощущенья: Стихотворения
—Ярославль: Издательский дом «Печать», 2011 -92 стр.

ISBN 978-5-9902377-9-5

От автора: в стихотворениях этой книги много бытовых реалий, которые следует отнести скорее к журналистике, чем к поэзии. Но глубинные изменения, происходившие в российском обществе в последние десятилетия прошлого века и начале нынешнего, во многом и видны через эти реалии. В целом же основной темой книги, как и в предыдущих моих сборниках — "Осенний человек"/1996 г./ и "Скверы"/2010 г./ — является тема бытия простого человека в непростых условиях русской действительности.

ISBN 978-5-9902377-9-5

© Смирнов А.П., 2011
©Издательский дом «Печать», 2011

*Но слышу, слышу лисий хвост
след заметающего времени.*

* * *

Защемило в груди от печали
по грядущим таинственным дням,
как в далёком и юном начале,
где я жил ощущением огня.
Полыхало за дверцею в печке,
полыхало и выло, как зверь;
а косматая ночь на крыльчке
когтем ветра царапала дверь,
и небесные чёрные силы
в снег вжимали продутый барак
так, что злей и угрюмей могилы
был к окну присосавшийся мрак.
Но гудело и ухало в сердце
пламя чувств, не имевших имён,
и казалось: открой только дверцу —
будет сердцем весь мир озарён...
А теперь впрок имён мне хватает,
чтобы чувства уложить в постель
и не пламя в груди полыхает,
а загробного мира метель;
за окошком смущённые тени
убегают во мглу фонарей...
Так откуда же это щемленье
о непрожитой жизни моей?

ВРЕМЯ БАРХАТНЫХ ЗНАМЁН

РЫБИНСК

Мотор скворчит, как жир на сковородке;
водитель хмуро курит "кэмел" свой;
стоят деревья в выцветших пилотках
вдоль улиц, словно лагерный конвой.

За ним мелькают зданья, светофоры,
а впереди асфальт уходит в синь...
Как невелик, однако, этот город
из окон перелётного такси!

Он больше мне в щербатых тротуарах,
во встречных взглядах серо-синих глаз —
во всём, что я случайно и недаром
в амбарах скряги-памяти запас.

Вот вытащишь какую-нибудь рухлядь —
плетённый стул, луну, осколок дня —
и чувства дрожевое тесто пухнет,
шипит и просит формы и огня.

ИНВАЛИД

У базарных ворот, при дороге,
ниже всех проходящих людей
он торчал, абсолютно безногий,
над убогой каталкой своей —
на подшипниках грубые доски —
и темнее асфальта ладонь,

а в губах — перламутра полоски,
из Берлина губная гармонь.
Бородатый, хмельной, полужуткий,
лбом со шрамом к асфальту клонясь,
выдувал он о сопках манжурских
на дрожащей гармонике вальс...
Рядом бодро галдели старухи,
предлагали укроп и лучок,
но отец, пошептав мне на ухо,
в руку толстый совал пятак.
Подходил я к изнанке берета,
раскрывал вдруг вспотевший кулак
и на горстку потёртых монеток
опускал осторожно пятак,
и к отцу отбегал, что в сторонке
поджидал со стыдом на лице;
а у бабки в шкафу — похоронка,
что пришла до меня, об отце...
Пробивные хрущёвские годы
снова храмы громили окрест
и оттаявший запах свободы
замерзал, как предутренний лес;
прорастало российское пьянство
в подворотне, в скверу, в гараже...
Но и бледный росток христианства
прорастал в моей бедной душе!

1960-ые

О, дух годов шестидесятых,
ты — вкус китовой колбасы
и репродукторов раскаты
о птицах звёздной полосы!

Ворвался в дом наш телевизор
и мир расширился для глаз,
любой кумир стал грозно близко:
Стрельцов, Альметов — вижу вас!

Росли дома, росли заводы
вокруг и в тундровой дали,
и очереди за водкой
во дни получек всё росли.

В тени дворов на лавках тесных
и вдоль канав, где трав приют,
ругал безмозглость власти честно
подвыпивший рабочий люд;

и в гранях стопок толстопузых
над хлебом, килькой и лучком
уже зиял всего Союза
сверхтектонический разлом.

УРОК

Тротуары дощатые, угольный шлак
на дорогах и запах барака,—
здесь недавно хмурил "Волгострой — Волголаг";
в нашем детстве есть тень от ГУЛАГа...
То ли правду сказать, то ли ложью покрыть
наказуемый друга проступок?
В восемь лет этот выбор не просто свершить,
если Славка молчит очень глупо,
а в разбитом окне, словно ворон, сосед
клювом водит в предчувствии поживы;
он к тому же ещё и в три звёздочки мент,

а у Славки папаша паршивый:
гвоздь его воспитанья — армейский ремень...
Но мне лгать ещё не приходилось:
наползает на щёки пунцовая тень,
Славку жалко... И вдруг, словно милость,
из барака напротив старуха идёт
и менту: "Что ты мучишь детишек?
Сорванцы с Техучастка бежали и вот
всё камнями да в воробьишек".
Закрывает сосед чёрный клюв за окном;
погрозив Славке пальцем, старуха
убредает в барак свой, стуча посошком;
мы бежим за сарайки, где глухо.
Славка грязные слёзы стирает со щёк,
бьют под майкой костяшками рёбра...
Встретил Славку недавно, он помнит урок:
правду всю говори только добрым.

НАТАШКА

В дни детства всё мне было в радость:
и свист скворца, и шарк шагов,
и лёд черёмухи над садом
под грозным блеском облаков...
Я был наивен, как букашка,
и беззаботен, как цветок,
но одноклассницу Наташку
поцеловал, любя, в висок
и застеснялся, — кто ж не знает
всю глупость мальчиков благих...
Теперь она внучат качает,
понятно, вовсе не моих.

Но улыбается при встрече
всей глубиной зелёных глаз
и вспоминаю я тот вечер:
Весну. Скамейку. Третий класс.

ПОХОРОНЫ 1960-ых

Память детства верней,
 чем любые венчальные кольца;
обручённые с детством,
 мы с ним проживаем судьбу...
Умирал человек, даже если последний пропойца,
обмывали его, одевали, покоя в гробу.
Если нет своего, то соседи несли пиджачишко,
"скороходы" да брюки и, руки уложив на грудь,
записным женихом,
 как нарядного в церковь парнишку,
благородно справляли
 в посмертье решающий путь.
На холстах полотенец
 подняв над землёй домовину,
три квартала несли за машиной её мужики,
чтоб покойного каждый
 мог помнящим взглядом окинуть,
чтоб оплакали бабы,
 простили, крестясь, старики.
И убогий оркестр из трубы, вальторны и тубы
да гремучих тарелок,
 к которым примкнул барабан,
созывал с ним проститься,
 надув полупьяные губы,

так, что дрожью спинной
отзывался на звуки и ушлый пацан.
Над Россией шла вонь
от сокрытых погостов ГУЛАГа,
от останков солдат, не укрытых в покои могил,
и народ поднимал
здесь любого покойника стягом
к той надежде на вечность,
которой он божески жил.
Все с ним свято прощались,
коль злобе души он не продал,
и за гробом шли близкие женщины
в чёрных платках...
Как не гнобь человека, душа обретает свободу
там, где хохотна власть,
заменявшая веру на страх!..
А теперь всё не так:
из подъезда гроб тихо выносят
прямым в катафалк,
где лишь близким возможно сидеть,
словно частное дело — любая душевная осень
и семейное дело — любая телесная смерть.
Год соседа не видишь — что умер,
узнаешь случайно...
То ль сочувствий стыдимся,
то ль высохли в буднях забот
наши души,
и жизни бессмертной сердечную тайну
на валютных дорогах
забыл утомлённый народ.

1972-ой, 8-ой "А"

Труд экзаменов строгих закончился,
выпускной в восьмилетке у нас:
очень взрослые платья девчоночьи
и парнишьи костюмчики класс.
Новожилов влюбился в Беляеву,
а она от ворот поворот...
Всех на танец её выбирающих
Новожилов сегодня побьёт!
Эх, Беляева Тонька, отличница:
рост, фигурка — сплошная модель,
и на щёчках так ямки кольшутся,
словно светом играет капель.
Только мимо идут одноклассники,
паралельщики мимо бочком:
не охота быть битым на празднике —
Новожилом могуч кулаком...
Мне Беляева больше не нравится,
вторен в Людочку я Халимон;
пусть она не такая красавица,
но глаза, что ночной небосклон:
смотрит нежно, как звёзды в них падают,
глянет зло, словно молнии в них...
Только очень мне сердце не радует
Новожилов, ущербный жених:
ни к чему здесь такое тщеславие,
праздник общий — ведь жизнь впереди.
Приглашаю на танец Беляеву
и веду, прижимая к груди...
Стихла музыка. С минами жалости
паралельщики зрят мне в лицо.
Новожилов идёт, полный ярости,

вызывает меня на крыльцо.
Я спускаюсь туда. Он эластиком
кривит губы под бешенством глаз:
"Если был бы ты не одноклассником!.."
Право, стоящий был у нас класс.

ФАРТ

В городишке беспонтовом,
но познавшем толк в жулье,
рос я мальчиком фартовым,
как катил по колее:
шиш в кармане, взгляд в тумане
от елецких сигарет,
водка плещется в стакане,
танцплощадки манит свет...
В драках вспльчиво-жестоких
кровянил свой нос и рот,
но смотрел подбитым оком
без сомнения вперёд...
Заводские проходные...
Милой девочки щека,
провождения шальные
по бульгам городка...
А к утру легко сшибали
с пацанами мы замки
и нас "явы" лихо мчали,
так, что свист студил виски!..
Кто попался... Я остался,
вышел в люди по кривой,
только с фартом распрощался,
словно с юностью самой.

А июльский закат
тонкой струйкой стекает сквозь тучи
в донца глаз, что глядят
на меня по-крапивному жгуче.
Чайки волны взрывали
и вновь возносились высоко...
Это где-то в начале
и очень далёко, далёко.
И змеиные прядки волос
на ветру трепетали...
И года в беспорядке
потом без неё пролетали.

* * *

Хрустя ледком, сквозь полумглу
лиловых зимних фонарей
я шёл и нёс в себе стрелу
последней гневности твоей.
Ломались тени на углах,
скользили люди на бегу,
автомобиль на тормозах
по мостовой чертил дугу,
а я всё шёл, как бы в финал
земной трагедии входя,
и с каждым шагом умирал,
по капле болью исходя...
Как выжил я? Увы, о том
и мне не скажут лёд и мгла...
Жжёт наконечник под соском,
там только рана заросла.

СОН

Приснилось, что стали огромными уши,
надулись, как два пузыря.

Проснулся, от страха отряхивая душу;
в окне занималась заря января.

К полудню забыл сон уродский, елозя
по льду бытовой чепухи...

Неделя прошла — уши я отморозил:
торчат пузыри, лопухи.

Но кто предсказал мне свершенье события?
Чем я ощутил, что не знал?

Зачем утопил я предвиденье в быте,
как разум в хмелящий бокал?..

Тот случай из юности был не последним —
страшнее сбывались сны.

Но я уже верил в их тёмные бредни,
которые правды полны,
и, телом сживаясь с пророческим страхом,
соплей не пускал по усам,
ножей не пугался и сердцем не ахал
от страшных звонков, телеграмм.

КОЗЛОВ

Козлов — игрок, им правит рок
туза бубнового и чёрта.

Он помнит каждый уголок
на картах, каждую потёртость.

Он ловит чутким пальцем крап
свежеразрезанной колоды.

Он мог богатым быть, когда б
не стал рабом блатной свободы.

Он банк сорвёт и за два дня
швырнёт на ресторанный столик:
ему путаны, что родня,
в запой летит, как алкоголик,
нет водки — пьёт одеколон,
а о закуске ни полслова...
И вновь в кружок садится он,
чтоб лохи помнили Козлова!

ЗАНАВЕСОЧКА

Занавесочка бело-красная
на заляпанном тьмой окне...
Буду нынешней ночью праздновать
я поминки по старой Луне.
Умерла луна желтолицая,
мне оставила весь простор.
Я бы взял его, да милиция
мною волнуется с неких пор.
Мной волнуются и тусуются
в нашем квартале опера,
ждут сердешные: нарисуюсь я
ночью тёмкою средь двора.
Ночью тёмкою с верной фомкою
и улыбочкой на губах,
ибо знаю я двери ломкие,
знаю платьца в жемчугах,
ибо голодно мне без золота,
что в шкатулочке под бельём,
ибо Манька ментом расколота
о намереньи о моём.
Зря надеются: я не девица,
чтобы голову потерять;

нюхом чую я, когда двери мне
надо фомкою отворять.
Протирают пусть лавки грязные,
носом хлюпая в тишине;
буду нынешней ночью праздновать
я поминки по старой Луне!

УЛИЦА

С детства улица так учила,
та, где финки, кастеты, крап:
"Не бери во вниманье силу,
но всегда проявляй нахрап.
Если в драку кустятся нервы,
а на помощь никто не придёт,
бей в хайло между зенок первым —
побеждает, кто первым бьёт.
Если кодлой напали, стервы,
униженье тебя не ждёт:
финкой бей без раздумья первым —
страх наводит, кто первым бьёт..."
Но советы блатной Минервы
мимо слуха пустив, как дым,
я ни разу не врезал первым
и не раз побеждал вторым,
веря в сдачи-удачи милость,
от ударов лица не храня;
а враги, ценя справедливость,
не ловили с кодлой меня.

СИТЬ

Ох, черны у мамы были косы
и глаза темней, чем шоколад!

На мои влюблённые расспросы
рассказала: много лет назад
её бабу и мою прабабу,
когда цвёл над Ситью краснотал,
взяв, как куст пушащийся, в охапку,
прадед мой из табора украл...
Самому б мне это не проведать,
видя бледность своего лица,—
весь чертами в по отцу я деда,
а глазами серыми в отца.
Что их предков в Ситскую сторонку
привело, мне рассказал не дол,—
битую раскольничью иконку
в дедовом тумане я нашёл.
Прятали её в сундук глубоко,
а в избе — левкас иных икон.
Там, под ними, прочитал я Блока,
был его смычками полонён.
И с тех пор, прислушиваясь к шуму,
к звону, к плеску, к лепету в реке,
всё в них слышу голос Аввакума
и песню на цыганском языке,

ГЕНСЕК БРЕЖНЕВ В 1978-ом

— Друзья генерал-майоры
давно уже все в отставке:
"жигуль" свой гонят за город,
по дачам сидят на лавке,
пьют водку душе в усладу,
ласкают любовниц в спальнях...
А ты тут долдонь доклады,
единственно генеральный!

Партийная дисциплина:
обязан, мол, ты и точка.
А мне б помощней машину,
свободу, шоссе без кочек!..
И дочка судьбой терзает,
воистину дочь генсека...
А Суслов — такой мерзавец,
идея без человека...

Немного душе отрады:
охота да пир застольный,
почаще вручать награды
и верить — в стране спокойно...
Но речи длинней всё пишут,
козлы, подхалимы, воры!..
А где-то сиренью дышат
друзья генерал-майоры.

* * *

1

— "Душа? Кому нужна моя душа?
Всем со своими нелегко поладить..."
А листья всё шуршат, шуршат, шуршат
и голос тонет в шумном листопаде...

Его потом нашли среди осин:
щека к стволу прижатая неловко
и над затылком, прямо в неба синь,
нейлоновая чёрная верёвка.

Крематорий. Ритуал.
 День трагически-бравурный;
 перед урной на котурны
 только старый пёс не встал,—

хвост в хвоинках и в пыли,
 в скуке взгляд уныло чахнет:
 здесь хозяином не пахнет,
 для чего же привели?

1983-ий, ВОДКА "АНДРОПОВКА"

"Марксизм крепчал": возле прилавков стойкой
 менты торчали, зыря на людей,
 и тех, кто был в спецовках и фуфайках,
 выхватывали из очередей,
 на воронках свозили их в "тигрятник",
 где выяснял при звёздах оперспец,
 кто с дачи прибежал, напялив ватник,
 а кто с завода за вином гонец.
 Последних штрафовали, увольняли,
 в итоге — оформляли в ЛТП,
 "лечением пьянства" планы выполняли
 на той "коммунистической тропе".
 Трепались в праздник бархатные ризы
 знамён, провозглашавших "новый век".
 Под аппаратом гемодиализа
 лежал в Кремле дзержинистый генсек.
 Дешёвой водкой с вкусом керосина
 травились работяга и артист,
 и торговал ей по ночам с машины
 со стопроцентной прибылью таксист...

Но среди быта подлого и пьянок,
отодвигая чувств и воли смерть,
читал народ "Буранный полустанок",
чтобы манкуртов красных одолеть.

* * *

Как всё изменилось за год!
В глубине её зрачков
этот год дождями тягот
залил блёстки огоньков:
веселился взгляд при встрече,
при разлуке тосковал,
в нашей комнате под вечер
синей тайной жарковал,
а теперь осенней стынью
морозящей налил,ся,
и как будто бы полынью
пахнет с белого лица...
Мы не ссорились до рвани
но не ладились дела
и в октябрь непониманий
жизнь медлительно вошла.
Пусть она ещё не плачет,
но твердят лица черты,
что воитель-неудачник
обманул её мечты,
что судьба полна работы,
а не вольности страстей,
что души моей заботы
с каждым месяцем грустней.
Не хватает сердцу света,
не находят чувства дна,

потому что жизнь поэта
безрассудна и темна...
Но за что просить прощенье?
И любовь нельзя спасти,
подломившую колени
с ношей правды на пути.

* * *

Что надо мудрецу?.. Немного риса
да к вечеру большой кувшин вина,
и чтобы в небе месяца нарциссом
над кромкой гор сияла тишина.

В её сияньи омывая чувства,
он сам сверкает, что тибетский снег,
творя свою беседу как искусство,
чтоб откровенье принял человек.

Всем нам, погрязшим в дня визжащем свете,
не замутить бездонного лица...
Хотя и никогда нигде не встретил
горячего, как юность, мудреца.

Вот потому, влюбляясь в златокудрость
прелестных жён, в веселье и вино,
я берегу на будущее мудрость,
которой сердце тёмное полно!

* * *

На сцене плачут и смеются,
так акцентируя слова,
как пили чай когда-то с блюда

те, чья судьба давно мертва...
О, мой театр провинциальный,
скупых талантов скудный ряд...
Но как во мгле притихшей зальной
глазёнки юные горят!..
Простим же труппе сей искусство
условности двухвековой
за то, что в них рождает чувство
сочувствия к судьбе другой.
И если наши души в гнили,
то пусть их чистит древний строй
лохматой щёткой водевиля
или Островского "Грозой"!

* * *

Остывающий август, утишивший пляж,
топчет синие тени на тусклом песке.
Я на камень присел и, достав карандаш,
захотел рисовать теплоход на реке.

Вот бежит он туда, где пока что тепло,
где смеётся вода, щекоча осетров,
ярко-белый, как снег, что под дверь намело
в день прощанья с тобой,
в позапрошлый Покров.

Не пора ли забыть? Правды в памяти нет!
Остывающий пляж. Убывающий день.
Одинокую ночь проживу и в рассвет
от зари на реку уроню свою тень...

Я не знаю зачем в этом мире живу!
Моя б воля — дитём я б родиться не стал,
а пролился б падучей звездой в синеву
или блеском "токая" в хрустальный бокал...

Убежал теплоход по дымящей реке,
и сломался на ватмане вдруг карандаш.
Всё длинней моя тень на вечернем песке.
Убывающий день. Остывающий пляж.

* * *

Я не стремился к жизни вечной
и не взгрущу о ней я впредь:
жизнь тяжела борьбой сердечной,
покоем лёгким манит смерть.

Слечу в огонь письмом в конверте,
развею в пепел язвы слов!..
Но если нет на свете смерти,
то я и к этому готов.

1989-ый, "ПЕРЕСТРОЙКА"

В магазине — хлеб да лимонад,
а в кармане "карточки" горят.
Дряхлая старуха продавца
спрашивает: "Нету ли мясца?"
— "Нету, бабка, мяса и не жди:
слопали любимые вожди!"
Не поймёт: зачем он так вождей,
пенсийку прибавили вот ей —

было пять червонцев, стало семь.
Во дворе оснеженная темь;
шаркая галошами по льду,
старая бормочет на ходу:
"Полбатона хватит на денёк,
полбатона высушу я впрок".

РА-А-АВНЯЙС!"

"Ра-а-авняйс!" — проносилось над ротой
и, цепко застыв на плацу,
в строю мы равнялись с охотой
по нужному справа лицу.

"Ра-а-авняйс!" — разносил репродуктор,
вспугнув города и поля,
и все мы равнялись как будто б
на красные звёзды Кремля,

покуда не вышло терпенье...
Давно уже русский народ
держать не желает равненье
на старых и новых господ,

дорогой своей некольной
шагает совместно и врозь
неспешно, нестройно, но вольно,
забыв про мужицкий "авось",

надеясь на труд и таланты...
И было б нам очень к лицу,
чтоб в будущем эта команда
звучала лишь на плацу!

* * *

Настольной лампы мятые цветы
качаются средь душной немоты
на мягких складках приоконной шторы;
за шторой, в незатворенном окне,
наверное, мерцает при луне
пятнистой пылью полуспящий город...

Как не люблю я шестистрочных строф:
похожие на сумасшедших дроф
бегут — не знают, где остановиться;
пойдёшь за ними и, глядишь, к утру
про ложь судьбы, пространство и жару
перемарашь многие страницы.

Их надо обрывать и прятать в стол,
потом искать вместительный глагол
для строгого двестишья иль катрена...
А не найдёшь? Так вот она — кровать,
срывай цветы и забирайся спать,
укрывшись сном Бодлера иль Верлена.

СОВЕТ СТАРОГО ЦЫГАНА

Никогда не возвращайся к прошлому:
к радостям былым; к минувшим бедам;
к женщинам, и бросившим, и брошенным;
и к друзьям, растерянным по свету.

Как бы ни секла тебя немилостливо
счастья обманувшего гордыня,
ты ищи не прошлого, как милостыни,
а будущего лучшего, чем ныне.

Стисни зубы, если плакать хочется!
Ненавидь, когда любить не в силах!
Но запомни древнее пророчество:
"Возвращенье к прошлому — могила".

ЗАЧЕМ?

Зачем у верхушки берёзы
на зябком ветру высоты
на веточках, словно мимозы,
засохшие дрогнут листы?
Зачем эти листья не бросят
предательски-скудных ветвей?
Зачем эти ветви выносят
убожество жизни своей?
Зачем в этом мире туманном,
у кромки ноябрьских полей,
грущу я о чём-то нежданном
под стуки костлявых ветвей?
В какие углы и пределы,
опавшею жизнью шурша,
спешишь ты, согбённая телом,
чужая для мира, душа?

* * *

Георгины в саду увядают,
угасают, как угли в золе;
лепестки, шелестя, облетают,
в трубки свёртываются на земле.
Мне не жалко цветов, мне не больно
в мокрых сумерках серого дня,

только что-то уходит невольно
с увяданьем цветов от меня
и теряется в хмари дождливой,
лишь светлей и грустней на душе,
будто был я когда-то счастливым,
будто был я счастливым уже.

СТАРУШКИ

Без Бога природа убога,
как русская печь без огня,
и всякий похеривший Бога
понятней, чем гвоздь, для меня.
Но эти сухие старушки,
что в церкви собирают нагар
и свечи последние тушат,
как тучи сиянье Стожар,
что знают, кому помолиться,
оглянут зажавшего грош,—
какая в них правда таится?
какая в них спрятана ложь?
Смотрю и понять я не в силах,
как будто стою в стороне
от преданной Богу России,
России, неведомой мне,
младенцем в купели крещённый,
взывающий к небу в пыли,
в блестящей столице учённый,
отпавший от соли земли...
А свечи рыдают, как очи
взирающих в вечную тьму,
и Лик, что во всём непорочен,
о тайнах сияет уму.

ВЕСЬ МИР РАСЧЕРЧЕН, КАК КРОССВОРД

1990-ые, "ЕЛЬЦИНИАНА"

Было время бархатных знамён
и парадных, с ретушью, портретов,
что над строем праздничных колонн
колыхались в марше пятилеток.

Было время верить в чудеса
в суете скукоженного быта,
когда гречка, мясо, колбаса
числились в разряде дефицита.

Было время спорить дотемна
об угрюмых снах литературы,
всей страной оплакать Шукшина
и читать под кляксами цензуры.

Было это время и прошло;
голодны теперь мы, да свободны...
Но свободе найденной назло
доллар вдруг стал страстью всенародной.

Идол, коррумпированный божок
с лицами заморских президентов
твёрже, чем лефортовский замок,
злее абакуммовских агентов.

Куплей и продажей мерит он
дарованья, чувства и идеи...
Много было горестней времён,
но доселе не было подлее!

* * *

1

Элитный клуб: Стриптиз провинциальный,—
лощёный блеск мелованных телес.
Официант столь вежливо-нахальный,
как чернецом прикинувшийся бес.
Сухие микрофонные певички,
до бёдер обнажившие бока.
Миллионер вкушает по привычке
руками парового судака.
Диетами подвяленные дамы
шампанское глотают в один дых...
Имущие, они не видят сраму,
когда едят и пьют за четверых,
когда потом на чёрном "мерседесе",
чуть кривуляя, движутся домой,
и отдаёт им честь на бойком месте
покой их берегущий постовой.

2

Средь богатых, так же, как средь сирых,
я с тревогой думаю опять:
тяжела некрасовская лира —
некому теперь её поднять.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

— Уймись, метель! Какую уйму снега
на улицы ты за ночь нанесла!
Ну как мне на базар тащить телегу
торгового святого ремесла?

Раз не дотащишь — шмотки не повесишь,
а не повесишь, значит, — не продашь,
и очень скоро потеряешь в весе:
на прожитьё доход уходит наш.

Ты думаешь, коль я предприниматель,
то у меня все с "зеленью" чулки?
Предприниматель — это заниматель,
трубящий на налоги и долги!

А те, кто потеряли тыщам цену,
мобильниками глядя по лицу,
из грязной тени выйдя в бизнесмены,
стригут меня, как всякую овцу.

ЧИН

В грозном здании управы
в кресле с номером один
восседает величаво
дорогой казённый чин.

Разбирая с напряженьем
косных мыслей дурелом,
чин подписывает веленья
ценным "паркера" пером...

Чин идёт по коридору.
Чин выходит на крыльцо.
Чин на "мерсе" едет в город,
затемнив стеклом лицо.

Чин восплыл в свою квартиру:
араратский пьёт коньяк,
ест телятину без жиру,
в Интернете ловит бяк...

Всё для чина. Всё по чину.
Всех пред чинную личину!

БРАТВА

В углах притихли фраера,
топя трусливость глаз в стакане,—
братва, внучонок Октября,
гуляет нынче в ресторане.
Бушлатов нет. Есть пиджаки,
но сняты, брошены на спинки,—
и с каждой щурятся руки
на нас весёлые картинки.
Грудь колесом, кулак с ведро,
короткострижены, скуласты;
ещё б повесить на бедро
могучий маузер и баста!..
А, впрочем, есть, отнюдь не два,
но не таскают их впустую,
не зря же празднует братва
экспроприацию буржуя.

* * *

Милицейская дежурка:
плечи кутая в тужурку,
капитан, как дыроколом,
составляет протоколы

на бомжей, на хулиганов,
потрошителей карманов...
Прут казённые слова,
пухнет ими голова.
Капитан бы бросил службу,
да жильё семейству нужно,—
вот и тянет, как бурлак,
свою ляжку так и сяк,
день и ночь при тусклом свете,
на чаю и сигарете...
В выходные водку пьёт,
только, падла, не берёт.

ЧУБАЙСИАДА

Клубятся нервы вдоль обочин,
комками катятся в туман:
электротранспорт обесточен —
муниципальный пуст карман.

Идолище электросилы,
мгновеньям пик оставив ток,
воткнул смирительные вилы
нетрудовому люду в бок.

Ну что ж, бреди, дыши туманом,
болезни сидные лечи
да береги свои карманы —
в толпе шныряют щипачи.

ВДВОЁМ

Мы — два тощих немеющих тела,
героином налившие кровь,
но прожгла нам сердца до предела
неземная друг к другу любовь.
На двоих мука ломки как проза,
подлый поиск заклятий земных;
но и счастье несущая доза,
видит Небо, всегда на двоих...
В жадном мире, где правит железо,
одноцветны восход и закат,
потому и сползаем мы в бездну
так, как шишки по склону скользят.
Но, сплетя неразрывные руки,
озаряемы чёрным огнём,
мы пойдём на посмертные муки,
знает Небо, навеки вдвоём!

СТАРЫЙ ДВОР

Тупик двора: стальные двери
подъездов, в каждой — домофон;
как будто кровью из артерий
кирпич на стенах окроплён;
ни деревца, ни клумб июля —
в асфальт успели закатать;
все окна в плотных бельмах тюля,
как в них живут — не разгадать;
на верхних — форточки закрыты,
решётки — в первых этажах...
Центр города, здесь лишь бандиты
и жулики пинают страх.

Да мусорный контейнер старый,
быстро крысиной всей братвы,
с утра опухшие клошары
копают в поисках жратвы...
И друг, встречая нас у входа
в подъезд, бормочет от ума:
"Бандитам целый мир — свобода,
а нам лишь в доме не тюрьма".

ПОЭТ

Памяти С. Лукина

В головах у нас баксы и рублики
да азарт предприимчивых дел...
А ему просто хочется бублика,
потому что два дня он не ел,
или хлеба обычного чёрного
с крупной солью и свежей водой,
или пару картох, запечённых
на углях под горячей золой.
Мимо брызжут "тойоты" и "опели",
предлагают с лотков пирожки,
но в кармане рубахи заштопанной
у него лишь в чернилах листки.
В них ломаются строки, как прутики,
свеже-юной листвою шурша,
и сияет, как майские лютики,
возлюбившая честность душа...
Вспоминает печального Гамсуна:
запах рыбы, сводящий живот...
А у нас в головах меж пегасами
воровская малина цветёт.

НА ПЛОЩАДИ

У проститутки юбка красная
и губы, крашенные мглой...
А жизнь сверкает безобразная
вкруг проститутки площадной,
автомобильная, железная,
к любви и совести глуха,
круговращаемая бездною
неутолимого греха.

ТОСКА МАГАЗИННАЯ

Бессонная тоска ночного магазина:
в витринах спят сыры, селёдки, апельсины,
спят хвостики колбас, и, как большие птицы,
не закрывая глаз, спят, стоя, продавщицы;
и лишь тоска не спит, блестит стеклянным окном
компотов и повидл, тушёнок, вин и соков,
в горячих дросселях урчит и чёрной кошкой
по залу шебуршит, садится у окошка.
А за окном — зима в перинности сугробов,
зола замёрзших звёзд... Тоску съедает злоба;
она, скрывая масть, идёт на склад, не дышит,
и хищно щерит пасть над тёплым трупом мыши.

БОМЖ

— Счастья искал, а не груды червонцев;
радостей звал, а накликнул беду...
Снегом хрустя, под нахохленным солнцем
старый и нищий сквозь город иду.

Не для меня золотые витрины,
рокот авто и трамвайная нить,
грязной сумой пригорбативши спину,
роюсь в помойках, чтоб смерть отдалить...

Вымерзли чувства и мысли пропали,
все улетели туда, где тепло...
Ночь коротаю в крысином подвале,
коль со свечой, то, считай, повезло.

Город для вас; для меня здесь — пустыня:
взгляды людские летят сквозь меня...
Старый и нищий, живу я отныне
правдой далёкой Судного дня.

* * *

Как мерзка мной любимая жизнь
в этом городе вывесок ярких!
Волжской влаги лиловая слизь,
мшелоствольные дряхлые парки,
нищета неуютных дворов
даже в мае уныния множат;
и как рожи из адских миров,
под зонтами все лица прохожих...

Божьей волей в России родясь,
я нашёл слишком бледное небо,
но зачем-то ценю её грязь
и привык к вечной чёрствости хлеба.
Потому, приходя раньше всех
в бедный храм на заре воскресенья,

Но привязалось слово, не сорвёшь —
в нём и мечта о собственных колёсах,
и памяти услужливая ложь
о шансах, что использованы косо...
Придёт в квартиру, снимет дряхлый плащ,
на газ поставит чахлую картошку:
"Плевать, что жизнь не очень удалась,
всё к пенсии скребётся понемножку".

МАМА

1

На зелёных обоях линялых
пыльной ветхости жёлтый налёт.
Под плакучим, как тьма, одеялом
моя старая мама живёт.
Не встает уж полгода с постели,
не хлопочет для нас у стола;
боль в глазах её, полных капли,
мне, как под ноготь злая игла.
Вы, хоть в мыслях, на тело примерьте
эти зябкие землю и твердь!..
Молит мама тихонько о смерти,
словно может спасти её смерть.
И любви моей бури и трубы
не прогонят ни боль, ни беду,
лишь ладонью, жестокой и грубой,
нежно с щёк её слёзы сотру.

2

Господь накажет — мать простит:
по голове погладит грешной,

слезами лоб твой оросит,
словами боль твою утешит.

Стою над рыхлым бугорком
и белый свет глазам несносен,
надежд своих последний ком
с землёй на гроб бесстрастный бросив.

СЕСТРА

Всю жизнь минутного искала,
всю жизнь заветного ждала...
Но время новое настало:
жизнь улыбнулась и ушла.
Пастельно-нежные румяна
на белом холоде лица,
как подзакатные туманы,
скрывают подлинность конца.
Забавно быть в гробу красивой,
будить в родных сердцах печаль...
А над погостом ветер сивый
метёт в неведомую даль,
ворон взволнованных одышка,
мороза искренняя злость.
Окончен бал. Закрыта крышка.
Забит в неё последний гвоздь.
Земли багровые камни
звенят, как бьются зеркала...
И что осталось? Лишь виденье
да то, чего всю жизнь ждала.

ОКРАИНА

1

То здесь, то там горелая изба
черно сверкает брёвнами без крыши:
сожгла её насильница-судьба,
рассеялись хозяева и мыши...

И вот на месте грустных пепелищ,
металлочерепицей золотея,
встают над ветхим скопищем жилищ
холёные хоромы богатеев.

Окраина, она теперь в цене
у суетных владельцев "мерседесов"
за лунное сиянье в тишине,
за воздух, не избывший запах леса.

И очень быстро с четырёх сторон,
чтоб в жизнь их не проникли наши взоры,
встают вокруг вместительных хором
угрюмые бетонные заборы.

И не поймут в спесивости своей
одаренные долларами лица —
отгородиться можно от людей,
но от судьбы нельзя отгородиться.

2

На старом доме крыша новая
блестит металлочерепицей,
а у крыльца свежетесового
на лицах взгляды, словно птицы.

Там парень с девушкой в халатике
сидят и смотрят в небо синее,
где ласточки, что акробатики,
небесных трюков вертят линии.

Молодожёны развалюшечку
купили, подновить стараются
и со столетним домом души их
к высокой жизни обновляются.

ГОСТИННЫЙ ДВОР

Гостинный двор: со всех сторон
ряды товаров улежалых,
пустых монет мгновенный звон,
шуршанье ассигнаций ржавых;
вперяясь пристально в толпу,
очасовели манекены...

Воскресный день, музейный пуп,
досуг по-бабьему нетленный:
всё оглядеть, всё общипать,
красуясь знанием материй;
купить для дочери тетрадь;
дублёнку нежную примерить;
идти домой, кроя в уме
секвестр семейного бюджета...

Мелькнёт весна в сплошной тюрьме,
пустая осень сменит лето...

Идёт и царственность в чертах,
бумажки в близости запретной;
с сухой небрежностью в глазах
приобретает мех заветный;

уходит прочь — не шаг, полёт...
А дома муж встречает кротко;
она, расщедрясь, выдаёт
последний сотенный на водку.

НАЧАЛЬНИК

Спесивость млела на губах
прокисшим молоком,
вальяжный взгляд, вальяжный взмах...
О, как он мне знаком!

На кресла властный постамент
чуть случай уронил,
стал человек, как монумент
заспинных косных сил.

Весь мир расчерчен, как кроссворд,
и только к власти страсть
ведёт по клеткам, словно чёрт
собачью щерит пасть...

Кому-то страшен, мне смешон
вальяжный господин;
я дунул, плюнул и ушёл
в улыбочивость равнин.

К ТАРАКАНУ

Здравствуй, рыжий таракан,
завсегдагой общепита;
ты ползёшь, от крошек пьян,
через стол борщом залитый.

Нужный путь для жидких ног,
чтобы, об пол шмякнув глухо,
в притемнённый уголок
уволочь орехом брюхо
и сквозь дрёму наблюдать,
шевелия во тьме усами,
как людей голодных рать
важно клацает зубами,
перекашивает рты,
раздувает дыней щёки —
очень жадны до еды
мы, которые двуноги.
Научи меня, аскет,
быть мудрей, чем время оно,
жить на паре крох котлет
или капельке бульона,
ибо пусто в кошельке
и кредит не обещают,
а стакан в моей руке
только зубы греет чаем.
Мы с тобой, считай, родня
при посредстве обезьяны.
Научи же, брат, меня
стать столовским тараканом!

1999-ый, "ЗАСТОЙ"

Ярославль, "перемычка", весна,
и полдома в кромешном запое —
"левой" водки хмельная волна
захлестнула народ Нефтестроя.
Похмеляются с дрожью с утра,
уж давно позабыв чувство меры,

урки, лохи, менты, доктора,
работяги и пенсионеры,
чтобы вечером снова пошёл
кавардак по гудящим квартирам...
Сон сивушный бредов и тяжёл,
но опять прерывается пиром:
с искривлённым засохнувшим ртом
кто-то всё же дойдёт до палатки...
Не забыть мне до смерти тот дом,
чёрный год, что собрал три девятки:
мучит граждан чеченский позор
и похмельный оскал президента;
крупный вор попадает в фавор,
остальные — часть эксперимента...
Сколько выпила Русь в этот год
"самопала" и собственной муки!
Друг-афганец кричал: "Пулемёт
дайте мне поскорее же в руки!".
Колобродила глухо страна,
зрея к бунту от язвы запоя...
Мы тогда осознали сполна,
что такое явление "застоя".

* * *

Повторенье — мать мученья:
как мне ненавистен он —
в мгле ночного заточенья
часовой соседский звон!
Сон мой лёгок, словно пенка;
чуток слух в моих ушах.
Каждый час ломает стенку
Командора медный шаг.

Донжуан влюблённой жизни,
я пока что не дрожу,
но бессильным мягким слизнем
до утра лежу, лежу.
На рассвете засыпаю
и бесцветно снится мне:
яма узкая сырая,
жаба мерзкая на дне.

РАЗВЕДЧИК

— Я мальчишкой мечтал о славе
и о подвиге на виду,
а теперь вот на переправе
под бордюром лежу и жду.
Сыплют "духи" и сыплют наши
над рассветным мостом свинцом...
И лежу я с мечтой о каше
перед самым, может, концом.
Да, о пшёнке из русской печки,
в плошке вытомленной простой,
о распаренной той, о млечной,
с хрусткой корочкой золотой —
доставала её мамаша
из печи на исходе дня.
Как вкусна была эта каша!
И неведомо где Чечня...
Батальонные миномёты
хором гавкнули по мосту!
Не дойти мне до нашей роты,
закопавшейся в высоту.

"МЕЧЕННОМУ"

Ты, с дьявольской отметиной на лбу,
спустившийся, словно свору псов, судьбу
на нас, всё жив, хотя погребены
миллионы, что тобой соблазнены,
поверившие в то, что ты изрёк,
затянутые в вольницы поток,
а глоток перегрызенных их хруст
по кладбищам летит, как смерча куст...
Юрист-юлист, политик, грязный в ложь,
на взяточные доллары цветёшь,
а, тех же степеней лауреат,
Иуда ждёт, когда сойдёшь ты в ад.
Напрасно ждёт, страшнее выбран суд
тебе, царя Руси сыгравший шут!

КАМОРКА

В труппобном доме на пригорке
среди глухого городка
он вырос в дедовой каморке,
хранящей запах чердака.
Кровать и шкаф, да неба крылья
в карнизом сплюсненном окне —
вот всё, что знал из избылья,
и был доволен тем вполне.
Он не пытался прятать душу
за стенки мёртвые вещей,
она рвалась в делах наружу
вулканной магмы горячей —
ведь будучи бесстыдно молод,
он верил, искренность храня:

не только этот дрёмный город,
но мир весь создан для меня.
На вечной стройке коммунизма
шагать средь первых обречён,
он был хозяин этой жизни
и подпирал судьбу плечом!..
Слиняла молодость, как кошка:
мещанство съело коммунизм;
и нынче, сидя у окошка,
не в небо он глядит, а в низ,
где по шоссейке возле леса
бегут, как в западном кино,
"фольцвагены" и "мерседесы",
"тойоты", "форды" и "рено".
Вокруг него всё та ж каморка,
всё те же стулья, шкаф, кровать —
ему хватает. Только горько
себя ничтожным сознавать!

* * *

Пережить бы эту зиму,
перейти бы этот снег,
не теряя глаз любимых,
не смыкая век навек.

Но от голода усталость,
тяжело идти по льду,
сил почти что не осталось:
дунет ветер — упаду.

Ты не дуй, морозный ветер,
не вали меня в сугроб:

слишком дорог, слишком светел
для меня хрустальный гроб.

Не скользи с-под ног, дорога:
слишком лёгок этот путь —
в ледяном дыхании Бога
без страдания уснуть.

ГОЛОГРАММА ДУШИ

О цветной голограмме деши
размечтался голодный учёный,
и чтоб въяве могла она жить,
из-за ширмы телес извлечённа,
чтоб туристы за доллар могли
наблюдать, стоя справа и слева,
ярко-алые волны любви,
буро-чёрные полосы гнева,
страх, свивающий кольца ужом,
грусть с тоской, что, как локоны, свисли,
и сверкающих молний надлом
пробивающей сумрачность мысли...
А за окнами русский февраль
всё тянул паутину метели
и, как мухи, в жужжащую даль
беспокойные тучи летели,
и шагал комендантский наряд,
и шофёр налегал на баранку,
и не ведал никто, что хотят
души вывернуть им наизнанку...
А учёный уселся за стол

и, терзая компьютер упрямо,
за полночи решение нашёл,
как построить души голограмму.
И по слухам, что были сиречь,
под финансы известного Штольца,
чтобы душу из тела извлечь,
набирает теперь добровольцев.
Ну а Штолец, проявляющий прыть,
как поведали длинные уши,
норовит в "Дойче банк" заложить
извлечённые русские души.

* * *

Парк в февральской метели туманен;
колет щёки сухая игла.
Божий промысел ясен и странен:
я люблю, ну а ты умерла.
На окраине парка осины
посинели insultно до лба;
у сиреневой голой куртины
ставит ветер сугробов гроба.
Что найду я на месте сугробов,
прогоревших в апрельских ручьях,
здесь, где мы загадали до гроба
вместе новые вёсны встречать?
То ли клятвы истлевшей костяшки,
то ли мумию мёртвой любви?..
Но пока здесь играют в пятнашки
снеговые столбы и струи.
И в тулупах столетние сосны
поучают меня задарма:

"Никогда не загадывай вёсны
на земле, где полгода зима".
Только тошно мне жить без гаданий
над горбами судьбы и могил!
Божий промысел ясен и странен:
я умру, потому что любил.

ДЕТСКИЙ СМЕХ

Вдруг детский смех, как солнца луч,
пробившийся меж жирных туч,
тебя настигнет ненароком
и, озирая тусклым оком
пушистый лёд на проводах,
газоны в галочьих следах,
кусты, забредшие в сугробы,
ты чувствуешь тупую злобу
к себе за то, что разлюбил
весь этот бедный зимний пыл;
и с жадной завистью к ребёнку,
что, на затылок сбив шапчонку,
проходит с солнцем на устах,
понурий прибавляешь шаг.

ШИПОВНИК

У ольдевших подоконников
бродит хриплая пурга,
чёрной ягодой шиповника
метит белые снега,
что, как перья лебединные,
воскрылялась в майский свет..
Хоть всю жизнь завесь гардинами,
от пурги спасенья нет:

побелели мои волосы,
почернела вся душа,
заплелся в извивы голоса
свист морозный камыша;
был я мужем и любовником —
жизнь теперь не дорога;
чёрной ягодой шиповника
крою белые снега.

КЛЁНЫ ЗИМОЙ

Топырки чёрные ветвей
в пластах уродливого снега
растят ничтожностью своей
возренья грозные побегов,
чтоб многопалою весной,
встречая потеплевший ветер,
сказать, что этот мир — он свой,
всем тем, кто свойства не заметил;
чтоб в исполинскую жару
здесь обвивались мягкой тенью,
не пребывая на пиру,
но приближаясь к обновлению.

* * *

Опасен ум, холодный энтомолог,
влекомому в дендрарии искусств:
прикалывает мыслями иголок
к листам он бабочек различных чувств.

Прискорбны эти жертвы многодумья,
забывшие порхание и дых...
Продли, Господь, мне вышнее безумье —
писать на крыльях бабочек живых!

* * *

Не с пластилиновой душой
я встал из средне-русской пыли
в мир человечески-большой,
и вы, которые лепили
меня /так думалось вам/
и от себя, и по неволе,
не форму придали бокам,
а только ощущение боли.

Как был с младенческих пелён,
таким остался и доньне,
лишь научительной гордыней,
как батогами, уязвлён!
И здесь от всех любивших лапаты
мой охраняли нежный свет
лишь только мама, только папа
да женщина, которой нет.

ВЕСЁЛАЯ БОЛЬ

* * *

Вынул душу с-под чёрного камня:
веселись на метельном свету!
Но она повлажнела боками
и опять норовит в темноту:
ослепило дневное сиянье,
ужаснул аромат бытия,—
слишком долго хранила молчанье
ты под спудом, живица моя.

Вытирай свою потную кожу,
не пугайся оставшихся дней!
Мы не станем, конечно, моложе;
мы не будем, конечно, умней.
Но, смотри, как горды в колыханьи
под покровскою вьюгой цветы...
Кроме воли
любови и дыханья
нет у Бога иной красоты!

* * *

Неужели в самом деле
даже чайки улетели?
Даже чайки — волн качалки,
острогрудые весталки,
крупногорлые обжоры,
воры родом из Ижоры,
плавки Бога в рыбьем глазе,
перья гения в экстазе,

леонардовы джоконды,
крикуны небесной фронды,
думы негра на Ямайке,
чалки ветра, просто чайки.

Значит, время настаёт
самовар побольше ставить,
созерцать циничный лёд
и цикличность жизни славить.

* * *

Обросших шерстью стройных тел
полным-полна земля,—
морозный сахар захрустел
во рту у декабря.
Кто превращается в овцу,
кто волком держит путь,
кому-то норки блеск к лицу,
кому-то заяц в грудь.
Лишь ты, небесной мысли раб,
жалеющий зверьё,
одел в суконно-ветхий драп
озяблое своё
и человеческим пятном
в зверинце декабря
проходишь под моим окном
с лицом поводыря.

"TRISTIA"

День колыхался, как желе,
у вьюжной птицы на крыле;
лучами протыкая муть,
автомобили длили путь;
и каждый встречный человек
был сон того, чьё имя Снег.
И ты, и ты — его был сон,
в сарматском стойбище Назон,
ломавший твёрдое вино.
Когда? Не всё ли вам равно!
В нарциссы мёрзлого стекла
дышала память, как могла;
не растопив зальдевший понт,
душа сосала горизонт..
У вьюжной птицы на крыле
день колыхался, как желе,
а я, седой гиперборей,
томился тристией твоей.

"СТОЛИЦА БУРЛАКОВ"

В пространстве твердынь двухэтажных,
на улицах, сбитых в квадрат,
в сугробах перинисто-важных
купается марта закат.

Зелёного снега свеченье
играет на стенах домов,
где каменных судеб течение
сковало морозом веков.

И ласка зелёного света
моей утомлённой душе
напомнила красное лето,
какого не будет уже.

Там дамы идут в пелеринах,
в суровых поддёвках купцы
и с пятками, рыжими глиной,
бегут от реки огольцы.

Там нищенок ржавые лица
у биржи построены в ряд
и в воздухе хлебной столицы
сияет Успенский закат.

Там сбоку амбаров имперских
над скатертью жёлтой реки
гуляют с веселием дерзким,
взяв водки ведро, бурлаки.

Над Волгой — беляны, расшивы,
холмы неподъёмных кулей —
все южные русские нивы
прибились к плотам пристаней...

О, Рыбинск, прошло твоё лето,
теперь то зима, то весна...
В свеченьи зелёного света
над крышами всходит луна.

А там, где высотки торопко
бегут от мороза веков,

всё чудятся лирик Андропов
да сталинский чиж Щербаков.

ПРЕДОЩУЩЕНЬЯ

Акульи пасти в март раззявил город,
грозит зубами острыми сосулек.
Сей плотожор зимой был бодр и молод,
теперь обрюзг, как порченная дуля:
по мостовым течёт мазутным соком,
ворчит и дышит скатами со свистом...
Но всё блестит очками чёрных окон,
предощущая таинство убийства.
Его князёк, чиновник жилкомхоза,
на лжи проевший совесть без остатку,
пьёт в кабинете чай со вкусом розы,
предощущая от банкира взятку...
Его слуга, с рожденья пьяный дворник,
вдали от крыши ковыряясь ломом,
предощущает потно, что покойник
на счастье будет для него знакомым
и на поминках водкой под кутейку
налиться можно резво и до края...
Вот потому я мокрую скамейку
подальше от подъезда выбираю
и, роковые прошлые напасти
припоминая средь иного сора,
с почтением слежу акульи пасти
взращённого из камня плотожора,
развившего чиновные интриги,
мундирной прочей челяди бесстыдство,
сковавшего рабам своим вериги
во славу прокормленья любопытства.

* * *

Весна перелопатит снег,
наружу вывернет изнанку,
разлив ручьёв извивный бег
тебя разбудит спозаранку.

На тротуарах блеск воды;
фонарь топорщится, как гребень;
и ни мерцанья, ни звезды
в тяжёло-душном, влажном небе.

И надо что-то предпринять,
переменить, переиначить,
чтобы душой не облинять
среди оттаявших чудачеств.

Кому — тепло, а мне назло
все догмы старые одрябли,
и ветка клёна, как весло,
перед окном роняет капли.

ПРО СЧАСТЬЕ

Жили, расселясь меж океанов,
мучились в работах дотемна...
Счастья захотелось вдруг крестьянам
и пошла гражданская война.

Побув дворян, крестьяне мирно
зажили, хваля кровавый флаг...
Счастья захотелось партмундирным
и одних — в расход, других — в ГУЛАГ.

Хоть не жирно, но от пуза елось;
пусть не джин, но всякий вволю пил...
Сверхобилья счастья захотелось —
миллионы рынок уморил.

Русская история вся — страсти
несосчётных пороков и голгоф...
Избегаю требующих счастья,
обхожу сулящие их власти,
чтоб не попадаться им в улов.

* * *

1

Куда пойти? Кому сказать: встречайте!?
Кого назвать по имени, по отчеству?..
Опять весь день в окно кричали чайки,
а им в ответ молчало одиночество.
Все номера в мобильнике из прошлого!
Все адреса в блокноте из минувшего!..
Плывёт по Волге льдин весенних крошево,
как поминанье время затонувшего.
И с ними память пухнет, как утопленник,
несомый к морю силой половодья...
Но страсть, что в дни былые не расоплена,
для сердца ищет новые угодия!

2

Одиночество — это награда,
это ночь среди спящих куртин
в глубине Гефсиманского сада,
когда с Богом один на один.

* * *

Старого квартала диоген
греется у дома на скамейке.
Штукатурка падает со стен,
пропиты последние копейки...
Впрочем, есть картошка, сухари,
пенсия грядёт через неделю.
— "Нет, что ты, милоч, не говори,
а народ-то русский, как Емеля,—
надо, чтобы щука помогла
или, скажем, скатерть-самобранка.
Что копить деньгу через дела?
Вырастут детишки — спустят в пьянках!
Вот возьмём Гордеева Фому..."
Трудно спорить мне с тобой, философ,
я и сам лет тридцать не пойму,
что в нас от варягов, что от росов:
викингов прямые паруса,
распростёртость азиатской лени
и царьградских гимнов небеса —
всё смешалось в сонме поколений.
Потому-то и не преклоню
перед чуждым идолом колена!
Я и сам на этот мир смотрю
с ласковой усмешкой Диогена.

ИЗ СЕНЕКИ

Надел мой невелик. Доход мой скромн,
но честен, что внушает мне покой.
Я в помыслах своих не вероломен,
чинов не жажду, не прельщён войной.

Что почести и роскошь? — Пыль и глина!
Мне ценности другие по плечу:
быть Рима откровенным гражданином
и жить всю жизнь лишь так, как я хочу!

* * *

В сорок лет, заседев бородою,
я себя оглядел и спросил:
было ль что-либо сердцу святое
в подлой жизни, которой я жил?
Что не смел оскорбить ненароком,
продираясь сквозь заросли лет,
на презренье, хоть лёгким, намёком?
И ответил, бесстыдствуя: нет!
Нет людей, не обиженных мною,
среди тех, кого сердцем любил;
нет дверей, что не пнул я ногою;
нет могил, что сомненьем не взрыл;
нет и слов, что не пачкал я ложью...
Потому-то в сезоны дождей
так люблю я топтать бездорожье
осовелых лугов и полей.
Там в ответ на судьбы моей повесть
шелестит дождевая вода:
"Не отмоешь уставшую совесть,
не вернёшь молодого стыда.
Но, внимания Бога не стоя,
по весне иль в ноябрьскую слизь
вдруг прозреешь ты сердцу святое
в лике смерти, карающей жизнь".

ШЕПОТОК

За окошком апрель тянет к звёздам ладони...
Задрожал телефон. Шепоток в телефоне,
без шипенья молвы, без зиянья секрета,
словно в гости дитя с ожиданьем совета.
То ли я виноват, то ль она виновата,
что ко мне, как сестра, ну а я ближе брата;
и в ручьях голосов вместо музыки страсти,
как кошачьим хвостом, шепоток соучастья...
Разнополая дружба порой, как могила,—
ведь почти что любил! и почти что любила!
Но зачем-то тела не коснулись друг-друга,
а теперь не сойти с заведённого круга;
и никак не сотрёт лет седеющих ластик,
что считалась моей среди всех одноклассниц...
Любим мы на Руси, где полгода метели,
жить в нетронутом сердце, как в вечном апреле.

ПЕРВОМАЙ НА ВОЛГЕ

Льдина плачет на жёлтый песок,
перезревшая майская льдина,
вся в прожилках с ребра, нелюдима,
как старуха у бездны дорог.

На откосе блестят, как желтки,
первоцветов густые соцветья.
Над пластиночной рябью реки
чайки ловят чуть слышимый ветер:

взмоют в высь и парят, раскрыля
руки в перьях, спадают отлого...

Эти воздух, вода и земля —
только с ними я чувствую Бога!

ЧЕРЁМУХА ЦВЕТЁТ

И над каждым трущобным двором,
глядя в грязь вековой нищеты,
полыхнули сверкающим льдом
плотно сжатые в гроздья цветы.

Подними к ним завистливый взгляд,
раскалённый до блеска весной,
и они тебя вновь ослепят
непорочной своей белизной.

Ты и сам был когда-то таким
среди этих трущобных дворов;
закоптил тебя жизненный дым,
запылили дорожки ковров.

Но осталась весёлая боль
о ненайденном кладе судьбы,
словно неба флажок голубой
на ржавеющем древке трубы!

* * *

... из жизни души, торопящейся к устью
по дня перекатам и омутам ночи,
ценю я всё больше с отрадною грустью
заливы молчаний, плоты одиночеств.

Старуха на лавке под ясенной сенью
в июльском тепле греет ломкие кости

и веет от лика возвышенной тенью,
как тихую славою на сельском погосте.

Мальчонка, коленками в травы врастая,
следит за работой семьи муравьиной
и бабочки света из глаз вылетают,
лужайка светлеет от думы невинной.

Вот юная женщина, белая роза,
склоняется нежно над дитяткой спящей
и будущих лет ароматные росы
мерцают в глазах над землёй настоящей.

В нас вечное время вырастает сквозь пятки
и мысли любви распускает, как кроны,
и входят в порядок в земном беспорядке
разлуки и встречи, суда и вагоны.

И даже сквозь ночь похоронных процессий,
несущих по улицам траур мелодий,
из семени слёз и литаврных рецессий
лишь новое, вечное, время восходит!

СИНИЧКА

— Я ростом убога и спинка с горбом,
а руки и ноги, как спички.
Пленённая жизнь в моём теле худом
трепещет, как в клетке синичка,

дрожит и трепещет, но всё же поёт,
своим каждым пёрышком рада,

что дождик щебечет, что ветер несёт
сиренью из сада,

что парни спешат по влюблённым делам
красиво под нашим окошком,
что ночью котят родила
в подъезде приبلудная кошка...

Мы с бабками выкормим этих котят.
Меня все соседки жалеют,
что спинка горбата, что ручки болят,
что ножки ногами немеют.

Ничтожная жалость! Ведь птичка поёт —
пусть в клетке, — поёт и играет;
и счастлив не тот, кто красиво живёт,
а тот, кто светло умирает.

ЛАСТОЧКИ

Воздуха плователи, ветра ловители,
вы с высоты город сразу весь видите:
каждую улочку, каждую булочку,
каждую тлю, что идёт на прогулочку...

Но никогда на асфальт вы не сядите,
словно с землёй от рожденья не ладите,
словно из облачных тканей и света
божью одежду кроите всё лето.

СОНЕТ НОЧИ

Космата ночь. Космата и смугла.
Бьёт дрожь её в прошитых ливнем кронах.
Гудят сквозь тьму ветра-колокола
проклятьями в гортанях воспалённых.

В такую ночь темны твои дела,
Господь убогих, нищих, уязвлённых,
и месть встает, как гром из-за угла,
над бледностью и страхом лиц холёных,

и брызжет кровь их чёрною смолой
на белую постель, и посвист злой
ворон из чердаков на улицы выносит...

Велик, кто поднял на отмщенье нож,
земных князей не тщась распутать ложь,
когда грехам он отпущенья просит!

РУИНА

Заброшен дом в пустыню нежитья:
нет потолков, полов — одна коробка,
сквозь сито крыши каплет шум дождя,
но, кажется, само пространство робко
хранит ещё округлости перин,
углы столов, ковровое убранство,
блеск хрусталя и запах нежных вин...
Не может быть пустым оно, пространство!
И свет свечи в дыханьи жарких слов
в трюмо колеблет страсти отраженье...
Не может умереть она, любовь!

А, впрочем, это всё — воображение.
Но ты, читатель, в смехе не дрожи
над вымыслом, что речь тебе внушает;
ты сам — тень жизни только, а не жизнь,
которую Господь воображает.
Минувших судеб светопись и шум
хранятся не в вещах, не в старых стенах,
а в кровотоке наших тёмных дум,
записанных на жёстких дисках генов
да в тех ничтожных долях естества,
что с робким, но бессмертным постоянством,
храня в себе все лики и слова,
пронизывают время и пространство,
чтобы под кровом божеской руки
вновь обрести зелёный дух и тело
и, повторяя в новом камне стены,
в них застелить полы и потолки.

ПАМЯТНИКИ РЫБИНСКА

1

Бурлак усохший, измельчавший,
на Волгу закосивший взгляд,
унылой бронзой прозвучавший,
ты хрупок, словно рафинад.

Должно быть ветренный ваятель,
от скуки маясь день-деньской,
нашёл тебя, тоски приятель,
на дне пивнушки городской.

2

На пьедестал царя в пальто и шапке
забрался странный вождь большевиков;
внизу цветов кровавые охапки,
на лавках пьют "портвейн" и "бочкарёв".

Буржуй пузатый проплывает мимо,
с рабов базара получив оброк,
и думает: "Какой он нелюдимый!
Как ему жарко! Как он одинок!"

3

Перед шлюзами палачи ГУЛАГа,
чтобы забраться к вечности в карман,
придумали поставить в рост рейхстага
"отцу народов" грозный истукан.
Но был в тот день не в духе Джугашвили,
велел он подхалимам вопреки,
чтоб монумент поменьше возводили
в честь Волги, русской матери-реки.
И вознеслась над каменистым молом
красавица с закрученной косой,
с широким сарафановым подолом
и тихо поднимаемой рукой.
"Отец" одобрил. Кто бы с ним поспорил!
Хоть приглядеться стоило чинам,
ведь "Волга-мать" глядит не в даль и море,
а за залив, на белый божий храм.
Он выше всех вознёсся над округой,
а женщина славянской красоты
перекрестить поднимает руку
в молитвенной надежде на кресты!

ПРО НОЖ

До впечатлений молодость жадна.
Чтобы понять сердец вражды и стоны,
я опускался до людского дна
и попадал в трущобные притоны.
Но отморозкам — что уж тут тереть —
на наглость слов отвечивал молчаньем:
не потому, что страшно умереть,
а оттого, что грустно умиранье.
И если угрожали мне ножом,
я уступал обидчикам дорогу,—
важнее выиграть хитростью в большом,
чем просверкать в текущем и немногом.
Виват героям, что идут на нож
без размышленья, не прищурив веко!
Но если б каждый был на них похож,
давно б Земля забыла человека...
И те, что угрожали мне ножом,—
все храбрости своей не избежали:
в распаде спят на кладбище большом,
найдя друг друга злобными ножами.

ЭТА ТИХАЯ ЖЕНЩИНА В ЧЁРНОМ

Эта тихая женщина в чёрном,
эта женщина с бледным лицом,
с очень бледным лицом, удручённым
размышлений терновым венцом,
уже год каждый день ровно в восемь,
словно вся её жизнь по часам,
что-то тайное в сердце проносит
под окном моим в маленький храм.

И всегда, не крестясь, без поклонов,—
я подглядывал это не раз —
зажигает свечу пред иконой,
где темнеет взыскующий Спас.
Не дождавшись заутренней службы,
в своём чёрном унылом платке,
сквозь метель ли,

сквозь дождь ли по лужам
переулком уходит к реке.
И стоит над обрывом, упорно
глядя вверх по течению в даль,
эта тихая женщина в чёрном,
что бледна, как тоска и печаль.
Подойдёшь к ней и спросишь — ни слова,
лишь ресницами вздрогнет в ответ...
Видно, правда её так сурова,
что и слов для смягчения нет.

"LOVE ME"

"LOVE ME" — на бейсболке у старика,
в жёлтый пергамент одета рука,
белая трость, наощупь шаги,
в чёрных очках не видно ни зги.
Правит проспектом бензиновый чад;
люди, как кони, под стенами мчат...
Трелью зелёный запел светофор,
старый шагает на звуки в упор —
каждое утро сиротски один
с чёрным пакетом идёт в магазин:
хлеб, молоко да кусок колбасы...
Тикают в сердце чуть слышно часы,
складки, как стрелки, ползут по лицу
тихо — завод ведь подходит к концу...

Может и я так пойду меж людьми
вскоре, в бейсболке, кричащей "LOVE ME" ...
Или, как встарь, сквозь ухабы и ширь
путь мне найдёт сирота-поводырь;
буду я песни стонать у церквей,
жить подаянием бедных людей,
в ветошь с помоек в мороз уберусь...
Многое можешь ты выдумать, Русь!

* * *

Не повезло, быть может, мне родиться,
отсюда все невезения мои:
ведь жизнь — не щука, а судьба — не птица,
их не поймать, они — в твоей крови...

Замёрзнет кровь, как лужи на дорогах,
когда мороз откроет погреб,—
жизнь улетит в надежде встретить Бога,
закаменеет надгробием судьба,

и в мире, где не дышат и не плачут,
не любят, не тоскуют ни о ком,
мне сердце изгрызёт моя удача
весёленьким могильным червяком...

Но, может быть, мне повезло родиться,
оттуда все везения мои:
ведь жизнь — не щука, а судьба — не птица,
ловить не надо, всё они — в крови,

и в мире том, где смерть живёт старухой,
отпаивая мёртвых молоком,

такая мне настанет невезуха
со всяческим могильным червяком...

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Сергей сергейничал, олеговал Олег,
а я в окне увидел первый снег
и, отстраняя круглый разговор,
коньяк отставил, выглянул во двор:
асфальт был чёрен, но белым-бело
меж жёлтых листьев бабочек мело,
и всё дрожало в этой белизне, —
балконы, крыши, женщина в окне...
Я на земле живу не первый век,
но каждый год дивлюсь на первый снег,
влекомый в детство страстью чистоты,
гонимый в сердце властью красоты.

КЛЁНЫ ОСЕНЬЮ

Пылающие факелами клёны
краснеют в мрачной пирамиде дня
под сентябрём, дождями опоённым,
на улицах, не чуждых для меня.

В пустыне мира, где кой-как повисли
барханы звёзд, оазисы планет,
тревожат эти гаснущие листья,
как в тьму преобразующийся свет.

И шастая по шатким тротуарам,
прикрытыми блестящей кожей луж,
дышу я не бензиновым угаром
да и машин не слышу я к тому ж.

Как тень среди рельефных саркофагов
в змеиную впечатываясь тьму,
не улицы я меряю здесь шагом,
а чувства непонятные уму.

В родную речь заезжим иностранцем
скрываюсь подворотнями беды,
а клёны снисходительным багрянцем
сжигают неокрепшие следы.

ПОКОЙ

Под солнцем цельно-нелучистым,
пред лесом изжелта-сквозистым
река осенняя блестит,
как полированный гранит.

Ни шелеста, ни дуновенья,—
недвижны вечности мгновенья...
О, если б сердцем замереть,
как эта гладь, как эта твердь,

и, позабыв про кровь природы,
испить до дна покой свободы!
Ведь даже смерти гроб нагой
не обещает нам покой.

ПРОЛЕТАРИЙ

Сбираю осенний гербарий
в сияющем сквере пустом,
где с красным лицом пролетарий
над водкой уснул под кустом.

Я весь, как осенняя трезвость,
всё ясно и чисто во мне,
и руки не пахнут железом,
и мышцы не тянет в спине.
А этот, хлебнув два стакана,
упал в увядающий дрок,
и снится ему безымянно:
могучий токарный станок,
сиреновой стружки извивы,
горячие капли на лбу...
Ревёт, словно зверь похотливый,
станок и строгаёт судьбу!
Металлом опутав свободу,
хохочет он, словно Кощей,
и мирного нету исходу
из вяжущих душу цепей...
И я не собирал бы гербарий
в сияющем сквере пустом,
когда бы, устав, пролетарий
не мог отдохнуть под кустом.

* * *

Бывают же такие октябри!
Спадающей листвы мятутся тени,
а в душных скверах индевью зари
соцветья распускаются сирени.
Всё это не похоже на обман
в циклонах заблудившейся природы,
скорее — из неведомых нам стран
сочатся неродившиеся годы!
По улицам туманным, как апрель,

листвою шебуршат автомобили,
и чёрно-золотой ворсистый шмель
впивается в цветочные подрывля.
Корицей пахнет юная сирень!
И, сняв пиджак, в сатиновой рубашке
иду я сквозь горячий липкий день,
но вдохи и шаги мои не тяжки.
Вокруг меня домам по двести лет,
и жить им дольше в циклах переборов,
как клавишам, в которых звуков нет,
но музыка скрывается...

О, город,
порой ты — Моцарт на балах веков
и Леонардо мысли и полотен,
хоть плавающий сдвиг материков
диктует жизнь дворцов и подворотен!
Твой камень канет в Млечные Пути,
где льёт судьба убийственные пули...
Но дай нам так по улицам пройти,
чтоб в музыку уйти из этих улиц.

СЛОВО

На терниях земли, на наждаках асфальта
не раз я обдирал в юнцовых драках лоб,
упрямый, как рука жестокого Тибальта,
как первый большевик, идей влюблённый жлоб.
Достаточно словцу иному после танцев
мне в уши отлететь от губ нахальных прочь,
как щёки заливала бледность за румянцем
и визгами девчат расцветивалась ночь...
Нет, я не поумнел, но стал нежней отчасти:
не замечает взгляд презрения обид,

смешон мне в людях

тон поползновений к власти —
уж сколько их сошло, а город всё стоит,
всё так же строг асфальт и фонари лиловые,
пьянчуги с похмела всё так же клянчат грош,
и я порой даю... Но есть такое слово —
в сказавшего его без слов воткну я нож!

ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

Над платиной заиндевелых
и замороженных ветвей
безлунной ночи воздух белый
молчит, как мёртвый соловей.
И в это мёрзнущее тихо
со свода зябнущей зимы
слетают падших звёзд шутихи
и гаснут в толще бледной тьмы.
Все эти вспышки небосвода
и блеск непадающих звёзд
неровно отражают воды,
грызущие теченьем мост,
а я брожу вдоль них, сутулясь,
топчу пороши огоньки...
Быть может, в лучшие из улиц
дома встают обочь реки.
Реки, вращающей турбины,
реки, дающей свету ход,
и потому незаключимой
и в январе в угрюмый лёд.
Ведь наши души тоже реки
и сквозь вселенскость января
мир, оживляя в человеке,
несут в свободные моря.

И не туда ли, так высоко
крестя крестами небеса,
проносят Русь сквозь бури Рока
белёных храмов паруса?!

* * *

Нас в юности старцы учили,
как строить средь молний жильё.
Внимали мы им и любили,
но в них понимали своё:
прошло их громовое лето
и правда, сверкавшая в нём...
Откуда же пламя завета
вдруг вспыхнуло в сердце моём?
Слова, словно листья, опали,
все чувства голы, как кусты,
а в мира морозном провале
лишь молнии бьют с высоты;
и странное что-то — не знаю —
таится средь каждого дня...
Но я понимать начинаю
чему же учили меня.

СКИФСКИЕ ПЕСНИ

"Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы..."

А. Блок

1

Снег — это сон воды,
в небе он — облака;
сон — это свет звезды;
свет — это сок соска.

Млечный дымится Путь,
звёзды роняя в лог...
Если б хоть раз взглянуть
на мировой сосок!

2

Кто ты, Мати, тяжесть мира выносившая
в чёрной своей утробе,
вскормившая его молоком света?
Я долго-долго глядел на небо,
но и при блеске лунном
не смог увидеть Твои чресла и груди.
О, Мати, дай я поцелую
мозоли твоей подошвы,
только не наступи на меня!

3

Солнце растаяло сон;
степь проглотила туман;
вешний простор озарён —
светят к тюльпану тюльпан;

вольно пасётся табун;
воздух горяч, как вино...

Солнце у Мати на лбу
родинкой было давно!

4

Скажи, Мати, от чьего семени
в Твоём многоводном лоне
Земля зачалась и созрела,
трава над землёй восстала,
жеребёнок на тонкие ноги
поднялся, чтоб вымя кобылы
найти сырыми губами,
и я из повозки вышел,
чтоб увидеть смуглые очи?

5

Косы твои — ночь,
очи твои — тьма;
ты — вождя великого дочь;
я из тех, кому имя — тьма.

Мы спускались к Сапгир-реке,
я боялся в глаза смотреть...
Поцелуй горит на щеке,
будто след оставила плеть!

6

Губы мои на твоей груди
вечно пребудут,
губы мои на твоём животе
вечно пребудут,
губы мои на бёдрах твоих
вечно пребудут,

если ты предо мной в наготе
вечно пребудешь...
Если женой будешь!

7

"Вы грекам не верьте,—
вожди говорят,—
в их копьях зуб Смерти,
среди стрел — её взгляд..."

Обман их ползучий
призвал нас на месть...
Я воином лучшим
был в сече за честь!

8

О, Мати, курганом вспучилась земля —
кончилась кровь в великом вожде,
ушёл он с жёнами и слугами
в Твоё бесконечное лоно.
Мы плакали день и ещё два дня,
и слёзы, как реки, лились, и брага, как слёзы...
А на четвёртый день вошла смуглоокая
в мою бедную кибитку
и назвала хозяином своим...

9

Зной — это звон земли;
звон — это Смерти зов...
Мы со стадами шли
степью до трёх лесов:

ночью визжал шакал,
утром — сапсана крик,
к вечеру прилипал
к небу сухой язык...

10

Земля выдумала степь,
чтобы стада паслись.
Степь выдумала родник,
чтобы человек напился.
Родники выдумали реку,
чтобы смуглоокая в ней купалась...
Зачем река выдумала лес,
в котором взгляд дальше не видит
и стрела к врагу не летит?

11

Листья висят на ветвях, как желтки;
чаще и чаще — дождь...
— Пора идти, — подумали старики.
— Пора! — говорю я, вождь.

Землю роя, несут быки
тысячи мышц и кож...
— Продадим в Херсонес, — подумали старики;
— в Херсонес! — решил я, вождь.

12

О, Мати, нося мир во чреве, ты была
такой же некрасивой, как моя смуглоокая;
ты не могла скакать на коне и, сидя в повозке,
пела длинные грустные песни...

А тот, чьё семя набухло в тебе,
кружил вокруг твоей кибитки
и тяжёлая плеть свистела в его руке,
отгоняя чёрные силы,
пугая чёрные души...

13

Сын — это солнца луч!
Солнце — Твоё пятно!
Ты — всё, чем мир могуч,
даже когда темно!

Губы впились в сосок,
губы сосут легко
жизни дразнящей сок,
белое молоко.

14

Знаю, Мати, у Тебя такие же соски,
как у моей смуглоокой,
алые и упругие, похожие на соски кобылицы,
серой коровы, белой козы,
кудрявой овцы и верной волчицы.
Ты всем вскармляющим дала свои соски...
Взрастившая мир своими сосками,
я целую мозоли Твоей подошвы —
не наступи на меня!

СОДЕРЖАНИЕ:

"Защемило в груди от печали..." .	3
ВРЕМЯ БАРХАТНЫХ ЗНАМЁН	
Уездное	4
Инвалид	4
1960-ые	5
Урок	6
Наташка	7
Похороны 1960-ых	8
1972-ой, 8-ой "А"	10
Фарт	11
"Я был пьяным юнцом и ударил..."	12
"Словно зыбкий мотив..."	12
"Хрустя ледком, сквозь полумглу..."	13
Сон	14
Козлов	14
Занавесочка	15
Улица	16
Сить	16
Генсек Брежнев в 1978-ом	17
"— Душа? Кому нужна моя душа?.."	18
1983-ий, водка "андроповка"	19
"Как всё изменилось за год..."	20
"Что надо мудрецу? Немного риса..."	21
"На сцене плачут и смеются..."	21
"Остывающий август, утишивший пляж..."	22
"Я не стремился к жизни вечной..."	23
1989-ый, "перестройка"	23
"Ра-а-авняйс!"	24
Петрован и Петрованиха	25

"Настольной лампы мятые цветы...	26
Совет старого цыгана	26
Зачем?	27
"Георгины в саду увядают..."	27
Старушки	28

ВЕСЬ МИР РАСЧЕРЧЕН, КАК КРОССВОРД

1990-ые, "ельциниана"	29
"Элитный клуб: Стриптиз провинциальный..."	30
Предприниматель	30
Чин	31
Братва	32
"Милицейская дежурка..."	32
Чубайсиада	33
Вдвоём	34
Старый двор	34
Поэт	35
На площади	36
Тоска магазинная	36
Бомж	36
"Как мерзка мной любимая жизнь..."	37
Зоя Космодемьянская	38
Подъезд	38
Мама	39
Сестра	40
Окраина	41
Гостинный двор	42
Начальник	43
К таракану	43
1999-ый, "застой"	44
"Повторенье — мать мученья..."	45
Разведчик	46

"Меченному"	47
Каморка	47
"Пережить бы эту зиму..."	48
Голограмма души	49
"Парк в февральской метели туманен..."	50
Детский смех	51
Шиповник	51
Клёны зимой	52
"Опасен ум, холодный энтомолог..."	52
"Не с пластилиновой душой..."	53
ВЕСЁЛАЯ БОЛЬ	
"Вынул душу с-под чёрного камня..."	54
"Неужели в самом деле..."	54
«Обросших шерстью стройных тел...»	55
"TRISTIA"	56
"Столица бурлаков"	56
Предощущенья	58
"Весна перелопатит снег..."	59
Про счастье	59
"Куда пойти? Кому сказать: встречайте..."	60
"Старого квартала диоген..."	61
Из Сенеки	61
"В сорок лет, заседев бороною..."	62
Шепоток	63
Первомай на Волге	63
Черёмуха цветёт	64
"...из жизни души, торопящейся к устью..."	64
Синичка	65
Ласточки	66
Сонет ночи	67
Руина	67
Памятники Рыбинска	68

Про нож	70
Эта тихая женщина в чёрном .	70
"LOVE ME" . . .	71
"Не повезло, быть может, мне родиться..."	72
Первый снег . . .	73
Клёны осенью . . .	73
Покой . . .	74
Пролетарий . . .	74
"Бывают же такие октябри!.." .	75
Слово	76
Волжская набережная . .	77
"Нас в юности старцы учили..." .	78
Скифские песни . .	79

Литературно-художественное издание

**Смирнов
Анатолий Павлович**

ПРЕДОЩУЩЕНЬЯ

Стихотворения

Произведение публикуется в авторской редакции

**Подписано в печать 15.11.2011. Формат 84x108/32.
Бумага офсетная. Гарнитура Liberation Sans.
Тираж 126 экз. Объем 88 страниц.**

**Издательский дом «Печать»
150000, г. Ярославль, ул. Свердлова, 18.
Тел. (4852) 73-76-54.
www.idpechat.ru**